

**Ф. В. Булгарин**

**И. И. Выжигин**

**Москва  
«Книга по Требованию»**

УДК 82-311.6  
ББК 84-4  
Ф11

Ф11 **Ф. В. Булгарин**  
И. И. Выжигин / Ф. В. Булгарин – М.: Книга по Требованию, 2024. – 266 с.

**ISBN 978-5-4241-1384-0**

Первый русский полноценный роман "Иван Выжигин" (1829) - кульминация творчества знаменитого Фаддея Булгарина (1789-1859). Это плутовской роман с авторской идеей: "все дурное происходит от недостатков нравственного воспитания".

Представители высокой культуры (от Дельвига до Пушкина) всячески изругали эту историю похождения главного героя, который после цепи головокружительных приключений превратился из нищего "сиротки" в наследника огромного состояния и княжеского титула. Но широкий читатель сразу оценил занимательный роман.

**ISBN 978-5-4241-1384-0**

© Издание на русском языке, оформление  
«YOYO Media», 2024  
© Издание на русском языке, оцифровка,  
«Книга по Требованию», 2024  
© Ф. В. Булгарин, 2024

# ПРЕДИСЛОВИЕ

## ПИСЬМО К ЕГО СИЯТЕЛЬНОСТИ АРСЕНИЮ АНДРЕЕВИЧУ ЗАКРЕВСКОМУ

Прошло двадцать его лет с тех пор (писано в 1829 году), как я первый раз Вас увидел на поле сражения, в Финляндии, когда незабвенный граф Николай Михайлович Каменский вел нас к победам и вместе с нами преодолевал труды невероятные, противопоставляемые климатом, местоположением и храбрым неприятелем. Двадцать лет - много времени: пятая часть целого столетия! С тех пор многое переменялось в свете. Смотри философским оком на мир, я утешаюсь в моем ничтожестве тем только, что, при переворотах счастья, некоторые достойные люди, которых знал я прежде, достигли высоких степеней заслугами и постоянным стремлением к общему благу. Радость моя - бескорыстная. Я ничего не ищу, ничего не желаю, кроме уважения почтенных людей и благосклонности публики, которые стараюсь снискать моими трудами и тихою моею жизнью. Избрав Ваше Сиятельство из числа особ, коим посвящено сие сочинение, для объяснения пред ними намерений моих при издании его в свет, я пишу не к Министру, которого уважаю, но к человеку, которого люблю душевно. Вы не переменялись сердцем в течение двадцати лет и в Министерском Кабинете Вы так же добродушны с людьми, ищущими правды, каковы были на поле брани с военными товарищами. Надеюсь, что Вы благосклонно примете сие письмо старого солдата, который променял саблю на перо, чтоб подвизаться за правду - по крайнему своему разумению!

Любить отечество, значит - желать ему блага. Желать блага есть то же, что желать искоренения злоупотреблений, предрассудков и дурных обычаев и водворения добрых нравов и просвещения. Бывает много случаев, где законы не могут иметь влияния на нравы. Благонамеренная сатира спешествует усовершенствованию нравственности, представляя пороки и странности в их настоящем виде и указывая в своем волшебном зеркале, чего должно избегать и чему следовать. Вот с какою целию сочинен роман: Иван Выжигин. В нем читатели увидят, что все дурное происходит от недостатков нравственного воспитания и что всем хорошим люди обязаны Вере и просвещению.

Цель благонамеренной сатиры понимали все великие Законодатели России и часто сами прибегали к ее помощи для истребления пороков и предрассудков. Великий Петр повелел переводить с иностранных языков на русский многие полезные книги. Переводчик *Пуффендорфовых сочинений* выпустил все колкое на счет тогдашних нравов и обычаев Русского народа и заменил сии места ласкательствами. Мудрый преобразователь России прогневался за это искажение подлинника, велел перевести книгу в настоящем смысле и посвятить Своему имени. "Не в поношение русским приказал Я напечатать сатиру на наши нравы, - сказал Государь, - но к исправлению. Пусть знают, чем мы были, чем мы теперь и чем быть должны. Если все, что в книге написано, неправда, то ложь нас не обесславит; а если сочинитель говорит правду, постараемся сделаться такими, чтоб слова его показались ложью". (См. Штелина, Голикова: Деяния Петра Великого, часть IV, и рукописные анекдоты о Петре Великом, Нартова.)

*Петр Великий, при неусыпном попечении о гражданском благоустройстве*

России и о защите ее от завистливых соседей, не мог водворить литературы, которая требует для созрения много времени, и бросил только первые семена. Они принесли питательные плоды не прежде царствования императрицы *Екатерины* Великой. В промежутки между сими двумя славными царствованиями начала расцветать Русская Словесность, и первым ее цветом были: *Сатиры* Князя Кантемира, которого по справедливости должно почитать первым из светских Российских писателей.

Великая *Екатерина* дала жизнь и опору возрождавшейся Словесности и употребляла ее на очищение нравов. Рука, начертавшая Наказ и упрочившая благоденствие России мудрыми законами и великими политическими планами, в то же время умела владеть орудием благонамеренной сатиры. По повелению и под особым покровительством мудрой монархини издавался, в 1783 году, журнал, под заглавием: *Собеседник любителей Российского Слова*, в котором помещаемы были весьма резкия статьи о нравах. В этом журнале беспощадно разили пороки, предрассудки и причуды того времени, особенно между знатыми. Императрица Сама благоволила помещать статьи Своего сочинения в этом издании, и как по малой начитанности в тогдешнее время и по незнанию литературных приличий многие из русских читателей не понимали истинной цели сих сатирических статей, то мудрая монархиня повелела напечатать в журнале объяснение, которое я привожу, как любопытный памятник образа мыслей *Екатерины* Великой, насчет сатирических сочинений вообще, а также в улик тем, которые и поныне не понимают, какая может быть польза от сатиры нравственной.

"Когда я писал, я ни о ком не думал. Если не писать о слабостях, человеку родных, то других и описывать нечего. Когда слабости и пороки не будут порицаемы, тогда и добродетель похвалена быть не может: чрез познание первых, последняя познается. Если же кто себя в книжке моей узнает в порочном или непохвальном изображении, он сам подвергнул себя или подобрел под оное, и здравый рассудок повелевает ему исправиться, а не сердиться. Требуется ли от кого, чтобы в украшенных убранством комнатах зеркала были разбиты для того, чтоб дурные лицом себя в них не узрели? Не сердись, но исправься, читатель; тогда, будучи в мире со мною, я тебя забавлять стану, а ты исправлением своих слабостей заслужишь общее с моим почтение" {См. часть 1, с. 9. Выписка сия напечатана курсивом и в подлиннике. {Здесь и далее, кроме особо оговоренных случаев, примечания Ф. В. Булгарина.}}

Вот что я буду отвечать тем, которые захотят перетолковать цель моего романа!

Знаю, что искренность моего *Выжигина* не понравится людям, которые всякую правду, громко сказанную, почитают своевољством, всякое обличение злоупотребления приписывают дурному намерению; которые просвещение, единственное средство к благоденствию народов, почитают злом, и, подобно татам, желают водворения общего мрака, усыпления умов, глубокого молчания, чтоб поступки их были сокрыты. Им-то можно приписать то, что сказал бессмертный творец комедии *Горе от ума*:

\_"...Уж коли зло пресечь,

Забрать все книги бы - да сжечь!"\_

Но, нет! Наше мудрое Правительство печется о просвещении, о водворении

нравственности, и, вопреки толкам закоренелых староверов, поборников невежества, дает уму простор. Благонамеренные люди всех сословий чувствуют в полной мере великодушные намерения мудрых наших государей и готовы всеми силами споспешествовать общему благу. Цензурный Устав, высочайше конфирмованный Апреля 22-го 1828 года, есть самый прочный памятник любви к просвещению и к истине обожаемого нами, правосудного монарха, - памятник, достойный нашего века и могущественной России! Нам остается только молить Всевышнего, чтоб исполнители великодушных намерений нашего государя постигали Его великие предначертания: тогда счастье наше будет совершенным, и для словесности российской вновь наступит золотое время Державиных, Фонвизинных...

Наша знать не читает по-русски, чужда русской словесности; наши дамы даже редко говорят отечественным языком, и многие думают, что это важная преграда к возвышению словесности. Нет, это не преграда, но препятствие, которое, однако ж, не в состоянии удержать ее стремления. *Недоросль* и *Бригадир* Фонвизина, *Ябеда* Капниста, *Рекрутский набор*, Неслыханное диво \_представлены\_ были на театре, по воле мудрых венценосцев России. *Вельможа* Державина напечатан с соизволения Е\_к\_а\_т\_е\_р\_и\_н\_ы Великой. Итак, могут ли быть преграды там, где самодержцы действуют в духе своего времени, ко благу, то есть к просвещению своих подданных? Благодаря Бога, у нас есть еще истинные русские вельможи, заслугами приобретшие право приближаться к священным ступеням трона: они очистят туда же путь истине. Такие мысли утешают сердце и окрыляют ум.

Долгом поставлю сказать несколько слов о моем романе, в отношении литературном. Школяры и педанты, желая непременно держать умы в тисках вымышленных ими правил для каждого рода словесности, сколотили особые тесные рамочки и требуют, чтоб каждый писатель писал по их мерке. Отступить от этих правил почитается литературною ересью. Но откуда родились эти правила? Они составлены из сочинений авторов, которые писали, не зная других правил, кроме законов вкуса своего времени и своего народа, не зная других образцов, кроме природы. Другие времена, другие нравы. Но школяры, скованные в уме своем цепью предрассудков, непременно требуют, чтоб во все времена, у всех народов поэмы писаны были как во времена Гомера и Виргилия, оды по правилам Пиндара и Горация, трагедии по-расиновски, комедии мольеровским покровом, нравственные романы в виде задач. По правилам надобно: чтоб герой романа действовал как Баярд, говорил сентенциями, как оратор, и представлял собою образец человеческого совершенства - и скуки. Когда сочинение мое было почти готово, я получил книжку прекрасного французского журнала, *Revue Britannique* (К 29, 1887) и, к удовольствию моему, нашел статью, под заглавием: "От чего герои романов так приторны?". В ответ на этот вопрос автор говорит: "От совершенства, в котором их представляют. Это ангелы, а не люди". Далее говорит автор: "Нам представляют героев романа какими-то театральными божествами, и от того они также холодны. Многие думают, что представить их слабыми, нерешительными, подвластными обстоятельствам значит унижить их. Но мы люди, мы имеем слабости, и потому самые недостатки человечества занимают и трогают нас более". Таков был и есть мой образ мыслей на счет героев романа. Мой Выжигин есть существо доброе от природы, но слабое в минуты заблужде-

ния, подвластное обстоятельствам - одним словом: человек, каких мы видим в свете много и часто. Таким хотел я изобразить его. Происшествия его жизни такого рода, что могли бы случиться со всяким, без прибавлений вымысла. Понравится ли читателям моим эта простота в происшествиях и рассказе - не знаю. Пусть простят недостатки ради благой цели и потому, что это первый оригинальный русский роман в этом роде. Смело утверждаю, что я никому не подражал, ни с кого не списывал, а писал то, что рождалось в собственной моей голове. Пусть литературные мои противники бранят В\_ы\_ж\_и\_г\_и\_н\_а: они будут иметь сугубое удовольствие - бранить и не получать ответа.

Я даже не касался нашей словесности орудием моей сатиры, потому что она требует еще- помощи, а не сопротивления; она еще не состарилась и не обременена болезнями, вредными нравственности. Литераторов же у нас так не много, что они в обществе не составляют особого сословия, как в других странах. Вредного у нас не пишут, а кривые толки о словесности и оскорбление достойных писателей не имеют никакого весу в публике и служат только к стыду самих пристрастных и незрелых критиков. Я оставил их в покое: лежачего не бьют!

Что же касается до нравственных портретов в моем романе, то их можно было бы умножить и представить многие вещи гораздо сильнее. Но я почел за благо следовать правилу нашего неподражаемого баснописца И. А. Крылова:

\_\_Баснь эту можно бы и боле пояснить:

Да чтоб гусей не раздражить\_\_.

Вот побуждения и правила, которыми я руководствовался при сочинении *Выжигина*. Одобрение вашего сиятельства будет мне ручательством в добром мнении людей благонамеренных и самым сладостным утешением в кривом толке других.

# ФАДДЕЙ БУЛГАРИН

С.-Петербург Февраля 6 дня, 1829 года

# ГЛАВА I

## СИРОТКА, ИЛИ КАРТИНА ЧЕЛОВЕЧЕСТВА, ВО ВКУСЕ ФЛАМАНДСКОЙ ШКОЛЫ

До десятилетнего возраста я рос в доме белорусского помещика Гологордовского, подобно доморощенному волчонку, и был известен под именем сиротки. Никто не заботился обо мне, а я еще менее заботился о других. Никто не приласкал меня из всех живших в доме, кроме старой, заслуженной собаки, которая, подобно мне, оставлена была на собственное пропитание.

Для меня не было назначено угла в доме для жительства, не отпускалось ни пищи, ни одежды и не было определено никакого постоянного занятия. Летом я проводил дни под открытым небом и спал под навесом хлебного анбара или на скотном дворе. Зимой я жил в огромной кухне, которая служила местом собрания всей многолюдной дворне, и спал на большом очаге, в теплой золе. Летом я ходил в одной длинной рубаше, подпоясавшись веревкою; зимою прикрывал наготу свою чем попало: старую женскую кофтой или полуразрушившимся армяком; этим убранством снабжали меня сострадательные люди, не зная, куда девать старые тряпки. Я вовсе не носил обуви и так закалил мои ноги, что ни мягкая трава, ни грязь, ни лед не производили в них никакого ощущения. Головы я также никогда не прикрывал: дождь смывал с нее пыль, снег очищал золу. Питался я остатками от трапезы дворовых людей, в разных отделениях дома, и лакомился яйцами, которые подбирали в окрестностях курятника и под хлебным анбаром; остатками в молочных горшках, которые я вылизывал с необыкновенным искусством, и овощами, краденными по ночам в огороде. У меня не было никакого непосредственного начальника, а всякий помыкал мною по произволу. Летом меня заставляли пасти гусей на выгоне или на берегу пруда стеречь утят и цыплят от собак и коршунов. Зимой меня употребляли вместо машины для оборачивани вертела на кухне, и это было для меня самое приятное занятие. Всякий раз, что повар или поваренки отворачивались от очага, я проворно дотрогивался ладонью до сочного жареного и под рукавом сосал жирную руку, как медведь лапу; иногда я очень искусно обрывал куски ветчины из шпигованья и похищал котлеты из кастрюль. Главная моя обязанность состояла в том, чтоб быть на посылках у всех лакеев, служанок и даже мальчиков. Меня посылали в корчму за водкою, ставили на часы в разных местах, неизвестно для какой причины приказывая свистеть или бить в ладоши при появлении господина, приказчика, а иногда даже других лакеев и служанок. По первому слову: "Сиротка! сбегай туда-то; кликни того-то", - я пускался из всех ног и исполнял приказания со всею точностью, потому что малейшее упущение влекло за собою неминуемые побои. Когда меня ставили на часы и не велили оглядываться (что особенно случалось в саду), я стоял как вкопанный в землю, не смел даже шевелить глазами и тогда только двигался, когда меня сталкивали с места. Иногда, хотя очень редко, меня награждали за мою усердную службу куском черного хлеба, старой ветчины или сыру; и я, как ни бывал голоден, всегда, однако ж, делился этим с моею любимую собакой, *кудлашкою*.



Видя, как других детей ласкают и целуют, я горько плакал, не знаю, по какому-то чувству зависти и досады; ласки и лизанье *кудлашки* облегчали грусть мою и делали сноснее мое одиночество. Смотри, как другие дети ласкаются к своим матерям и нянькам, я ласкался к моей *кудлашке* и называл ее маменькою и нянюшкою, обнимал ее, целовал, прижимал к груди и валялся с нею на песке. Мне хотелось любить людей, особенно женщин; но я не мог питать к ним другого чувства, кроме боязни. Меня все били и толкали: с досады, для забавы и от скуки. Когда я попадался навстречу лакею или служанке, получившим гонку или побои от господ, они вымещали на мне свою досаду, сгоняя с дороги пощечиною или щелчком, с приговоркою: "Пошел прочь, *сиротка!*" Если я из любопытства хотел иногда посмотреть, как запрягают цугом лошадей, - кучера, чтобы возбудить смех в других зрителях, хлопали бичом над моею головою или стегали по ногам и заставляли меня с воплем прыгать под ударами. К псарям я не смел приближаться на расстояние длины арапника. Даже пастухи издевались надо мною: они, для шуток, вгоняли меня плетью в стадо и утешались, смотря, как я в страхе увертывался между коровами и овцами. Два господские сынка забавлялись, стреляя в меня из лука и травя малыми комнатными собачками, от которых, однако ж, защищала меня всегда моя *кудлашка*.

Самого барина я редко видал: встретив меня однажды на дворе, он запретил мне приближаться даже к окнам господского дома, и так страшно стукнул ногою, примолвив: "Прочь, зверенок!", что я не смел более показываться ему на глаза и прятался в собачью конурку, лишь только, бывало, завижу его издали. Барыню и двух барышень я видал не иначе как чрез забор в саду или в коляске и знал их только по нарядам. Приказчика и его жены я боялся, как смерти, потому что они несколько раз секли меня, в пример милому их сынку, который не хотел учиться азбуке, но любил разорять птичьи гнезда и швырять камнями в господских утят и цыплят: истребление домашних птиц этим негодяем приписывалось коршунам и моему несмотрению. В наказание за проказы этого шалуна, его заставляли смотреть, как меня секут, и слушать нравоучение, которое заключалось в сих словах: "Смотри, Игнашка, если ты будешь долее шалить и не станешь учиться, то и тебя будут так же больно сечь, как этого *сиротку*. Слышишь ли, как он визжит? Вот и ты запоешь этим же голосом!" В награждение за драматическое представление этого опыта нравоучения, жена приказчика давала мне кусок хлеба с сыром или крынку молока, которое я глотал пополам со слезами, не постигая ни причины наказания, ни милости.

Вот все, что я помню из первого моего детства, которое врезалось в моей памяти одними горестями и страданиями. Наконец судьбе угодно было облегчить тяжкую мою долю и, по крайней мере, включить меня в число словесных тварей. Эта перемена случилась со мною таким образом:

Одна из служанок, Маша, веселая и миловидная девушка, которая ставила меня на часы в саду чаще, нежели другие горничные, однажды встретив меня на дворе в сумерки, в осеннюю пору, подозвала к себе, погладила по головке и сказала:

- Возьми эту бумажку, *сиротка*; сожми крепко в руке и ступай в деревню. Там, в доме старосты, спроси, где живет офицер, отдай ему бумажку и воротись назад. Только никому не говори, что ты послан от меня, и если б кто хотел у тебя отнять бумажку, съешь ее, а не отдавай. Понял ли ты, *сиротка*?

- Понял.

- Ну, перескажи ж мне все, что я тебе сказала.

Я пересказал ей слово в слово, и она так была довольна этим, что чуть меня не поцеловала, и удержалась потому только, что я был слишком замаран.

- А знаешь ли ты дом старосты?

- Как не знать: третий от корчмы.

- Хорошо. А знаешь ли, что такое офицер?

- Ну, тот барин, что красные заплаты на кафтане, что ездит верхом и что ходит вечером...

- Довольно; вижу, что ты умен и расторопен; когда хорошо справишься, получишь много хлеба, мяса и всего: слышишь ли?

- Слышу, - отвечал я. С сим словом свистнул я на *кудлашку* и побежал в голоп за ворота.

По большой дороге до деревни было три версты, а по известному одному мне пути, через плетни и огороды, не было и половины этого. Прибежав в дом старосты, я встретил в сенях офицера, которого знал в лицо, поклонился ему и отдал записку. Он осмотрел меня с головы до ног, улыбнулся и велел следовать за собою в избу. Там, посмотрев на бумажку, он казался очень довольным ею и в награждение за добрую, по-видимому, весть дал мне кусок сладкого пирога. Это было в первый раз в жизни, что я отведал этой лакомой пищи; я не мог удержать моего восторга, почувствовав во рту неизвестное мне дотоле, приятное ощущение; в глазах офицера начал я пожирать пирог, изъясняя мою радость громким смехом и прыжками. В это время вошел другой офицер, и они оба весьма забавлялись дикою моею простотой, при отведывании сахара, вина и разных сластей.

- Кто ты таков? - спросил меня тот офицер, к которому я был послан.

- *Сиротка*, - отвечал я.

- Кто твои родители?

- Не знаю.

- Как тебя зовут?

- *Сиротка*.

- Бедное твореньице! - сказал добрый офицер, погладив меня по лицу. - Я позабочусь о тебе. Не правда ли, что этот мальчик красавец? - примолвил офицер, обращаясь к своему товарищу.

- Правда, - отвечал другой. - Жаль только, что его держат как поросенка.

Ласки этих добрых офицеров до такой степени растрогали меня, что я, вспомнив о других детях, которых в моих глазах ежедневно ласкали отцы и матери, принялся горько плакать и бросился обнимать ноги людей, которые, в первый раз в жизни моей, обошлись со мною по-человечески. До сих пор рука человека поднималась на меня не иначе, как для побоев и толчков, и потому я живо ощущал ласки, которым сперва завидовал издали, никогда не испытыв их на себе. Мои слезы и благодарность произвели, как теперь постигаю, сильное впечатление в офицерах. Они удвоили свое нежное обхождение со мною и дали разных сластей на дорог.

- Теперь ступай домой, *сиротка*, - сказал мне офицер, - и скажи тому, кто послал тебя: хорошо; но только так, чтоб тебя другие не слышали. Понимаешь ли?

- Понимаю: я дерну Машу за полу, отзову ее на сторону и скажу, что добрый барин сказал: *хорошо!*

- Прекрасно, бесподобно! Этот мальчик расторопен не по летам, - сказал офицер, - я из него сделаю человека. Прощай, *сиротка*!

Вообще все секретные поручения, близкие к сердцу поручающих, бывают источником счастья исполнителей, когда исполняются расторопно. То же случилось и со мною. Пришедши в господский двор, я тихонько пробрался в кухню и, заметив, что Маша с беспокойством на меня поглядывала и озиралась на все стороны, я не подал вида, что хочу говорить с нею, и вышел из кухни. Маша последовала за мною, и, когда я отдал ей отчет в моем посольстве, она тоже погладила меня, похвалила за расторопность, велела никому не рассказывать о происшедшем и обещалась на другой день наградить меня. Я провел приятнейшую ночь в жизни, под навесом, на соломе, с моею *кудлашкою*, которая согревала меня своею теплотою; мне всю ночь снились офицеры, с их пирогами и сахаром!

Утром, бродя, по обыкновению, возле кухни, чтоб поживиться чем-нибудь, я увидел Машу, которая подозвала меня к себе и велела за собою следовать к приказчику. Думая, что меня снова станут сечь розгами, для примера негодному его сынку, я горько заплакал и собирался бежать в деревню к офицерам. Но Маша уверила меня, что со мною не сделают ничего дурного, и я последовал за нею, дрожа, однако ж, от страха. Меня умыли, причесали, или, лучше сказать, выскребли, надели чистое белье, прикрыли каким-то кафтанишком и повели в господские комнаты. Я был в таком точно положении, как овца в руках у пастуха, которая трепещет от боязни, не зная, стричь ли ее станут или резать. Меня поставили в сенях и велели дожидаться. Я крайне удивлялся, что лакеи и мальчики, проходя через сени, не били меня и не насмехались надо мною, по обыкновению. Это придало мне смелости; но когда дверь из комнаты вдруг отворилась, и я увидел господина, господжу, барышень и господских сыновей, которые все шли прямо ко мне, бодрость меня оставила, и воспоминание о запрещении господина приближаться к окнам дома отозвалось в моей памяти. Мороз пробежал по всем моим жилам; я затрепетал, вскрикнул от ужаса и хотел было опрометью бежать из сеней; но меня остановили. По счастью, я заметил в числе зрителей офицера; бросился ему в ноги, охватил их ручонками и жалостно возопил:

- Не давай меня сечь, добрый барин; я, право, ничем не виноват!

- Бедный сиротка! - сказал офицер. - Как он загнан и напуган! Встань, дружок, - примолвил он. - Тебя не станут сечь, а будут кормить пирогами.

Слово "пироги" произвело во мне магическое действие. Я встал, обтер рукавом слезы и, осмотревшись кругом, заметил, что барин морщился и поглаживал усы, барышни держали платки возле глаз, барыня отвортилась от меня, а господские сынки из-за маменьки высовывали мне языки и делали гримасы.

- Господин *Канчуковский*! - сказал барин, обратившись к приказчику. - Этого мальчика я беру в комнаты и определяю, по просьбе старшей моей дочери, в английские жокеи, на ее половину. Пошлите за жидом, портным, в местечко, и велите его одеть по рисунку, который вам сообщит моя дочь.

- Слушаю-с, - сказал приказчик с низким поклоном.

- Мальчик мне нравится, - продолжал важно господин *Гологордовский*. - Удивительно, что я прежде не заметил его в доме.

Женщины начали меня ласкать и гладить.

- Как его зовут? - спросил барин у приказчика; но он, подобно мне, не мог отвечать на этот вопрос. Послали спрашивать у целой дворни, и по справкам

оказалось, что меня доставили во двор под именем Ивана. С этих пор меня перестали называть *сироткою*, и я сделался известен в доме под именем \_Ваньки Англичанина\_, от одежды жокея. Не я первый, не я последний в свете заимствовал название и достоинство от платья!